

H.B. Трубникова

«ПОЗВОЛИТЬ ПРОШЛОЕ КАК ИСТОРИЮ»: О ВЛИЯНИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА НА ИСТОРИОПИСАНИЕ В XXI в.

Рассматривается содержание дискуссий 2000–2010-х гг., связанных с определением познавательных возможностей исторической науки на излете эпохи постмодернизма. Последовательно анализируются ключевые понятия и векторы воздействия постмодернистской теории на сферу исторического знания. Представлен спектр современных взглядов на проблему исторической репрезентации, показан разрыв в понимании идентичности исторического знания между англо-американской и европейской гуманитарной мыслью.

Ключевые слова: постмодернизм; постструктурализм; лингвистический поворот; нарративная идентичность истории; историческая презентация; репрезентационализм; антирепрезентационализм; историческая эпистемология.

Одно из наиболее стойких клише, повсеместно культивируемых современной историографией последних трех десятилетий, – это констатация расцвета эпохи постмодернизма, диктующей особые культурные предпочтения и разрушающей нормы научной рациональности, которые сложились ранее. Насколько актуален этот идейный тренд на излете 2010-х гг.? Самый беглый просмотр базы Web of Science позволяет обнаружить, что более ста шестидесяти свежих и относительно новых статей о различных аспектах социогуманитарного знания имеют заголовок или аннотацию, содержащие слова «после постмодернизма». Формирующееся интеллектуальное «послевкусие» и определило исследовательский интерес, положенный в основу этой статьи: как мыслится сейчас авторами влиятельных международных научных журналов теоретическое наполнение столь странного понятия, как «постмодернизм», и можем ли мы попробовать отследить самые заметные маркеры его влияния на исторические знания, некогда ставшие его излюбленной мишенью?

При всей многозначности определений «постмодернизм» отсылает к интеллектуальной позиции, скептически воспринявшей «проект Просвещения» и его итоги – весь опыт эпохи модернизма и все ее ценности, будь то идеи свободы или прогресса, универсальные общечеловеческие максимы или способы академического письма. В исследованиях понятие часто ассоциируется с практиками постструктурализма, однако последний, по отношению к культурным проявлениям постмодернизма большого радиуса действия, имеет более ясный теоретический фокус, замкнутый на критике только структурализма и отношений власти, с ним связанных, а не всего разнообразия современности.

Столь же близко соотносится с общим контекстом постмодернизма и понятие «лингвистического поворота», объявленного в начале 1980-х гг. рядом американских исследователей, которые, сгруппировав под своим флагом идейно разнородные работы о языке, бросили вызов представителям научного гуманитарного истеблишмента требованием пересмотра устоявшихся исследовательских практик под углом разнообразных изысканий о дискурсе. Декларация «лингвистического поворота», как метко подметил Ж. Нуарель, являла собой тот же тип стратегии, который в

свое время «Анналы» применили против «позитивистской» истории [1]. Но вместо утверждения «всякая реальность социальна, значит, социальная история и есть сумма всех возможных историй» теоретики «лингвистического поворота» заявили: «всякая реальность проявляется через посредничество языка и текстов, значит, всякое историческое исследование зависито от рефлексии о дискурсе» [2. Р. 136–137]. Таким образом, стремление к «естественному языку» научного описания было представлено как нерефлексируемый недостаток базового интеллектуального инструментария историка.

«Точкой отсчета» применения понятия «постмодернизм» в гуманитарных науках считается работа Жана-Франсуа Лиотара, подразумевавшего под ним недоверие к «метанарративам» (дословно по-французски les grand récits – «великие истории») в широком смысле [3. Р. 7]. К. Илмаз усматривает три причины, почему «постмодернизм» при всей частоте употребления так и не обрел твердой дефиниции. Среди них – антиэссенциалистский и антифундаменталистский характер самого течения, сопротивляющегося любым определениям; слишком рыхлая интеллектуальная основа, включающая множество разноречивых идейных оснований; отсутствие явных идеологов, кто мог бы взять на себя смелость обобщить совокупный вектор движения и предложить ясное описание рассматриваемого явления [4. Р. 780].

Современные исследователи выделяют несколько филиаций постмодернизма, оказавших на становление современной гуманитарной теоретической рефлексии вполне самостоятельное воздействие. С. Сьюзен в монографии «Постмодернистский поворот» в социальных науках» (2015) [5] выделяет, по меньшей мере, пять его измерений.

Первое из них связано с «релятивистским» поворотом в эпистемологии социальных наук, повышающим значение различных социокультурных контекстов для этого способа познания. Вторым является «интерпретативный» поворот, сосредоточенный на теме дискурса и форм текстуальности для наук о человеке. Следующим измерением постмодерна является «культурный» поворот, поставивший под сомнение использование устоявшихся социологических категорий. Он повышает значение жизненного опыта людей по сравнению с исследованиями социальных струк-

тур, формируя «культурные исследования» экзистенциального опыта там, где раньше доминировали социальные изыскания. Четвертым открытием постмодерна стал поворот от «необходимости» к «вероятности» в историографии, что подразумевало сознательный отказ отteleологических суждений, формируемых господствующими метанarrативами, и провозглашало проект «открытой» и экспериментальной истории, равноудаленной от любых стереотипов академического производства предшествующей эпохи. И, наконец, пятый, «автономный», поворот в политической сфере отдал приоритет индивидуализму, процессам самоидентификации и культурным различиям в противовес общности и коммунализму, изменяя фокус интереса от макрополитических процессов государственного уровня к микромасштабным или локальным движениям.

Находя исследуемое интеллектуальное течение интересным и идеально состоявшимся, автор отмечает избыточную риторическую заостренность постмодернистской критики, (сознательно?) упускающей из виду критическую сторону саморефлексии оспариваемого модернизма. Многое из того, что провозглашалось постмодернистами как оригинальные находки, в действительности имело значительно более ранних предшественников. Так, значение непосредственного чувственного опыта, определяющего восприятие внешнего мира, важность категории историзма в интерпретации форм языка и смысловых значений, давно обсуждалось в герменевтике, недоверие к метанarrативам также было свойственно нескользким направлениям и эпохам западной гуманитарной мысли [5. Р. 237–240]. Постмодернизм не превзошел критический дух модернизма, но придал ему более радикальные черты, иногда довольно карикатурного вида. Эта преувеличенная реакция видна, в частности, в экстремальной озабоченности проблемами дискурса и текстологических форм академического знания.

Критикуя модернистскую приверженность культуре «объективной истины» (хотя принцип релятивизма утвердился как общеначальный задолго до рассматриваемых коллизий), его критики оказались столь захвачены проблемами дискурса, что превратили социологию в культурные исследования, а историю – в форму литературы. В радикальных формах постмодернистской рефлексии история как знание, основанное на интерпретации артефактов прошлого, фактически отрицается, поскольку видится как совокупность текстов, пересекающихся в самодостаточном пространстве интертекстуальности, которое почти лишено самостоятельных пространственно-временных координат [6]. Реальность погружается в туман дискурса, в котором нет и не может быть прочных логических оснований для общей дискуссии.

С. Сызен полагает, что размытие четких смысловых границ, определяющих конкретно-исторические измерения социального мира, по сути, влечет за собой имплицитный консерватизм сознания и воспитывает пассивное восприятие действительности. «Культурный» подход к социальной реальности, слишком ироничный и и гривый, не ухватывает асимметрии власти и стратегии, применяемые элитами для удержания

своих привилегированных позиций (что являлось сильной стороной структурализма). Культ крайнего индивидуализма, проблем самоопределения личности оставляет за гранью рассмотрения или, по меньшей мере, существенно обесценивает любые общезначимые вопросы.

И все же наибольшую угрозу постмодернизм представляет для истории, приглашая фабриковать интерпретации прошлого в перспективе свободного сочинительства, эссеистики и реализации различных профессиональных предпочтений, где нет места точным эпистемическим критериям, на основе которых можно было бы различать конкурирующие интерпретации. В перспективе это может привести к развенчанию историографии как проблемного поля, где ранее достигались некие академические компромиссы.

Не все исследователи усматривают во влиянии постмодернизма столь ощущимую опасность для академического знания. Д.Д. Робертс в рецензии на книгу С. Сызена резюмирует, что постмодернизм стал заметным культурным явлением, тяготеющим «...к крайностям, экстравагантности и чрезмерной реакции, и отчасти по этой причине он вызвал поляризацию и ответную чрезмерную реакцию. Это повлекло за собой элементы одной лишь чудаковатости, и неудивительно, что этот термин вскоре перестал пользоваться популярностью. Но многое оставалось непреваренным, и последствия и возможности постмодернистского поворота все еще не были должным образом разобраны» [7. Р. 126].

Очевидно, что исследователи по-разному оценивают не только содержание, но и степень воздействия постмодернизма на социогуманитарную мысль, рефлексия о характере его теоретического влияния на историографическую сферу только начинается. Со средоточием же на уязвимой сути истории перед лицом ее постмодернистских критиков.

Очевидно, что история лишена непосредственного доступа к своему объекту исследования: все уже случилось в прошлом, «онтологический зазор» между реальностью и минувшим является неустранимым. Никакое исследование историка не может быть проверено непосредственным наблюдением: можно лишь сравнить его с работами других историков. При этом сами историки руководствуются традиционным «эмпирическим» методом исторического источниковедения, по-прежнему силясь восстановить прошлое, максимально близкое к тому, «каким оно было на самом деле», согласно старинной ранкеанской парадигме. Старания социальной истории в духе французских «Анналов» по внедрению «истории-проблемы» расширили проблемное поле истории, но ничего не изменили в базовом историческом методе. При этом, отстаивая свое право практиковать «ремесло историка» согласно дисциплинарным нормам, критики постмодернизма, как правило, не читают его классиков и даже, повторяя с чужих слов, приписывают им цитаты, которых те никогда не произносили [4. Р. 787].

Впрочем, примеры некорректного цитирования здесь не идут ни в какое сравнение с тем, сколь небрежно и поверхностно сторонники нарративистского направления современной философии истории

подытоживают весь опыт исторической науки, рассматриваемой как некое общее течение «исторического реализма». Характерным рупором такого отношения к истории является, к примеру, журнал «Rethinking History» («Переосмыслить историю») и его редактор Алан Манслоу.

Некогда практикующий социальный историк, А. Манслоу в своих публикациях задается вопросом, выживет ли история в ее нынешнем виде, проблемы которой начинается с имплицитно провозглашаемого стремления к истине и «достоверным» репрезентациям прошлого. Как и большинство англоязычных нарративистов, автор почти не использует европейский континентальный контекст развития этой темы, без которого ни социальная история, ни сам постмодернизм не могут быть корректно представлены. Автор избирает нарративную стратегию иронии, не уставая смеясь над «наивными» историками, слепо следующими давно устаревшими тропинками традиционного исторического объяснения, сохраняя веру в то, что посредством метода документальной критики они получают «надежные» научные доказательства. Не вдаваясь в детальную критику, Манслоу противопоставляет им понятие релятивизма, хотя в реальности академического мира оно давно является одним из базовых принципов историописания, и, следовательно, не является полемическим аргументом.

Автор всецело разделяет представление о том, что история – это, прежде всего, литература, подчиняющаяся законам тропологии Х. Уайта, и, на его вкус, «...глубоко несчастливая ирония в подготовке историков состоит ... в том, что они начинают с артефактов прошлого скорее, чем с механики историописания» [8. Р. 557].

Однако, разбирая «механику историописания», автор не предлагает радикально новых способов осмысливания прошлого, лишь призывает привнести в исследование свои субъективные ценности и получить в итоге настояще «художественное произведение», некую разновидность исторического экспрессионизма. Вместо эпистемически наивного «исторического метода» в основу исторической работы предлагаются положить эстетический и этический базис, на основе которых, вероятно, сформируется определенный исследовательский формат. С точки зрения автора, его «...рассуждение требует восстановления, реабилитации и понимания себя, позиции и субъективности внутри фигуры автора-историка» [9. Р. 148] Манслоу, выражая доминирующую в постмодернистской историографии позицию, ратует за «наполненную сюжетом» историю, «history as story», в попытке дискредитировать сложившуюся академическую традицию историографии как «эпистемически» несостоятельную.

И все же, как бы не была велика пропасть непонимания между адептами постмодернизма и носителями более традиционного исторического знания, наиболее тесно и продуктивно его теоретические новации и «реалистически» ориентированные исследования смыкаются на обширном поле теории конструктивизма. По отношению к истории это общее направление питают различные концепции. Одни авторы, подобно

А. Манслоу (носители нарративного, или риторического, подхода к истории), признавая свободу творчества историка, сосредоточены на литературном измерении, фиксируя жанровое сходство и даже родство целеполагания у авторов исторических и художественных произведений. Другие авторы (сторонники философского направления лингвистического поворота, многие из которых черпают вдохновение в трудах немецкого историка и философа Р. Козеллека) сосредоточены на анализе семантики исторических текстов, в которой выражаются более общие отношения мира и языка, они проверяют значение смыслов и выражений, определяя некие «условия истины», на основе которых кристаллизуется определенный исторический опыт [10].

Именно последняя разновидность конструктивистских воззрений логически комплиментарна с исследовательскими стратегиями обновленной социальной истории, поскольку активно использует понятие исторической репрезентации, хотя и отрицает концепцию «наивно реалистического» видения прошлого. Однако здесь следует ясно заявить: с момента всемирного информационного триумфа французских «Анналов» 1960–1970-х гг. профессиональное сообщество историков совсем не рассматривает свое производство как прямое отражение реальности прошлого. Так, например, Роже Шартье ясно пишет о том, что ни один текст, сколь бы «объективными» не были ментальные установки и исследовательские процедуры автора, не поддерживает прозрачной связи с реальностью, поскольку подчиняется определенным условиям производства, литературным стилям эпохи, логике восприятия, формирующими конкретно-историческую ситуацию его написания [11. Р. 58–59].

Исследователь Е. Зеленак посвятил рефлексии о репрезентационизме и антирепрезентационизме современной исторической мысли отдельную статью [12]. Если первое направление стремится модернизировать традиционное видение прошлого историками, то второе полностью отрицает само понятие исторической репрезентации, хотя и предлагает взамен нечто другое.

Репрезентационизм заменяет «двухслойную» репрезентацию, приписываемую автором историкам (прошлое плюс текст), на трехслойную, добавляя в качестве посредника процесс авторской интерпретации. «Согласно двухуровнему видению, исторический текст прямо описывает события прошлого, он обеспечивает простое и ясное описание определенной части прошлого», в то время как трехслойное исследование текста уже не является зеркалом прошлого, связь между ними усложняется. «Наивный» подход является атомистическим, нацеленным на анализ отдельных событий, с которыми связаны устоявшиеся в историографическом производстве сентенции. Обновленный подход, основанный на репрезентации, – холистический, он руководствуется принципом «сверху вниз», он организует всю совокупность формируемых представлений, признавая «взаимоотношения суждений, которые образуют историческую репрезентацию, и различные утверждения «второго плана» [12. Р. 214–215]. Нет никакого исторического источника, который

бы прямо транслировал себя в то или иное суждение: напротив, всякое суждение должно рассматриваться в свете целостного описания исследуемой темы, которое пытается объяснить этот исторический источник. Необходимо брать в расчет фундаментальные теоретические основания и прочие соображения, которые образуют репрезентацию и определяют использование историками смыслообразующих терминов. Исторические образы всегда ретроспективны и многослойны, они улавливают не только само рассматриваемое событие в прошлом, но и все последующие события, которые используют опыт и память об этом событии.

В подтверждение своих мыслей, автор приводит в пример корифеев теоретической рефлексии: А. Данто в своих трудах исследовал нарративные утверждения, приходя к выводу, что историк не может считаться «идеальным свидетелем», поскольку наделяет рассматриваемое событие значением с точки зрения последующих событий, а также иных подспудных смыслов.

Л.О. Минк задавался вопросом, как историческое исследование остается исследованием фактов, будучи при этом нарративом. То есть история представляет собой не просто последовательность событий во времени, но особую «конфигурационную модель понимания», восприятие объекта как сети отношений, обозреваемых как поток реки с высоты «птичьего полета». Наконец, Ф. Анкерсмит в труде «Историческая репрезентация» (2001) описывает процесс ее создания как преодоление зазора между целостным историческим текстом (язык) и прошлым (мир) посредством оригинальной исторической интерпретации [12. Р. 216–217].

Представленная структура исторической репрезентации сомнений не вызывает. Интересно лишь, где и когда существовали столы «наивные двухслойные» троглодиты-историки, отзеркаливающие прошлое, которых упоминает Е. Зеленак? Мишель де Серто, являясь большим эрудитом и мастером источниковедения, еще в начале 1970-х с сожалением писал о том, что чем больше он погружался в изучение прошлого, тем более убеждался в его инаковости и недоступности для настоящего: «Оно ускользало от меня, или, скорее, я начинал осознавать, что оно от меня ускользает. Именно с этого момента, всегда размещенного во времени, датируется рождение историка. Именно это отсутствие образует исторический дискурс» [13. Р. 29]. *Рождение историка начинается именно с понимания «разрыва» связи времен, который надо попытаться как-то преодолеть.*

Более ста лет назад незаслуженно третируемый «Анналами» Шарль Сеньобос предостерегал юношество по поводу «непроницаемой» аутентичной сути исторического источника, имеющего для потомков «полумагический» характер. Архивные документы отражают лишь символическую суть, они нестабильны и призрачны, «... могут когда-либо быть собраны вместе только посредством цементирующей силы воображения» [14. Р. 35]. Разве здесь применима метафора простого зеркала?

Противоположное течение антирепрезентационизма ориентировано прежде всего на критику своего визави, с использованием следующих аргументов.

1. Репрезентационализм здесь оценивается как нечто близкое «наивному подходу» к истории, отрицается идея того, что репрезентация способна «схватывать», пусть опосредованно и сложно, образ прошлого.

2. В стане «лингвистического поворота» нет единодушия в определении «среднего слоя» репрезентации – посредника между прошлым и его отражением. Даже корифей теории исторической репрезентации Ф. Анкерсмит использует в работах разного времени термины «образ», «картина», «точка зрения», «тезис», «интерпретация» и, наконец, «аспект», который «сам является частью этого мира». Предлагается использовать этот уровень репрезентации лишь в эпистемическом, общетеоретическом ключе, что делает связанное с ним понятие неясным и мало операбельным.

3. Критики признают искусственной и недостаточно продуктивной дуалистическую структуру рассуждения о репрезентации, которая делит исторический текст на «что?» и «как?», форму и содержание. Каковы пределы их сочетаемости в дискурсе о прошлом? Бывает ли бесформенное содержание и бессодержательная форма? Можно ли любую форму наделить любым содержанием? Есть ли содержание с невыразимой природой? [12. Р. 216–217].

Основная критика исторического репрезентационизма для автора статьи наиболее явно концентрируется в трудах П.А. Рота и Дж.-М. Куукканена. Первый из них предлагает пересмотреть привычные предзаданные категории типа «национа», «раса», «государство», «класс» и т.д. Необходимо понять, что положено в основу этих классификаций, каким образом эти ключевые слова закрепляются в групповом сознании человечества. Должен быть пересмотрен сам способ созидания исторического знания, в котором отнюдь не реальность или исторические источники формируют категории мышления – все происходит с точностью до наоборот, побуждая к изучению сложившихся когнитивных компромиссов, вербальных конвенций, которые и позволяют создавать те или иные исследовательские практики. Добавлю, что последние труды П.А. Рота более детально привязаны к содержанию исторической репрезентации в попытке совместить исследование законов нарративной структуры повествования, с одной стороны, и логической рациональности полученных выводов, с другой, или, иными словами, согласовать процедуры исторического описания и объяснения [15].

Для Дж.-М. Куукканена история – это дискурсивная практика, целью которой является реализация стратегии аргументации за или против какого-то тезиса, а отнюдь не репрезентация истории при посредничестве историка. С его точки зрения, представленной в одной из новых работ, основной проблемой как современной философии истории, так и историографии является поиск принципиально нового способа ранжирования различных интерпретаций прошлого, в котором бы не оценивалась их «истинность» в терминах соответствия или правдоподобия, что характерно для традиции исторического реализма. «Адекватной» теории оценки историографии с точки зрения нарративистского понимания философии истории до сих пор не создано. Лучше анализировать историографическое

производство в свете общей традиции представления исторических взглядов и тезисов о прошлом, рассматривая их не как «истинные», но как «оправданные» или «подходящие». Всякий историк стремится произвести как можно более разумно обоснованное и убедительное изображение прошлого, однако его рациональная целесообразность зависит одновременно от трех измерений когнитивной оценки: эпистемического, риторического и дискурсивного [16].

Таким образом, антирепрезентационализм отвергает способность исторического исследования формировать отражения прошлого и многократно повышает значение творческой функции самого историка. Предложенный подход сводит работу исторической реконструкции всего лишь к мнениям, интерпретациям, оригинальным утверждениям и аргументативным стратегиям, не имеющим прямого отношения к репрезентациям прошлого. При этом искусство интерпретации наделяется высоким самостоятельным значением, не сводимым к роли посредника или инструмента, которые были бы нужны для того, чтобы как-то приблизить нас к прошлому.

Антирепрезентационализм чужд идеи, что исторические работы эпистемически связаны с прошлым, что исторические репрезентации соответствуют прошлому (как в классическом историческом реализме) или непрямо представляют его (как в репрезентационализме). Е. Зеленак, защищая право на существование «эпистемологии соответствия» прошлого его историческим репрезентациям, возражает Куукканену, что репрезентационисты вовсе не так наивны, как он их изображает. Но ведь и «наивные историки» не столь эпистемологически невинны, как их изображают репрезентационисты? Похоже, этот тип дискуссии, в котором каждый возражает лишь воображаемому призраку своего оппонента без всякой обратной связи, совсем не имеет намерения достичь какого-то общего понимания или идейного компромисса.

И все же автор наделяет антирепрезентационализм определенным познавательным значением: «Авторы как Рот и Куукканен не должны быть поняты как утверждающие, что прошлого нет, скорее, как говорящие, что прошлое не играет той роли, которую понятие репрезентации заставляет его играть» [12. Р. 224].

Англоязычная постмодернистская дискуссия об эпистемических основах исторического знания, к сожалению, замкнута в рамках очень узкого круга участников, имеющих малое представление как о своих оппонентах, так и о содержании уже состоявшихся (и нередко судьбоносных!) иноязычных дискуссий на указанные темы (как если бы их никогда и не было), совсем не стремясь к подлинному диалогу с историками или к поиску компромиссов. Немалая часть оппозиций о познавательной способности истории была разрешена Полем Рикёром, который, несмотря на всемирную известность, ни разу (!) не был процитирован ни одним из вышеупомянутых авторов. Между тем именно этот французский мыслитель смог предложить непротиворечивое представление об идентичности историка и его праве на научную легитимность, основанное на отказе от перспективы раз-

деления исторического исследования на «научное» или «субъективистское» направление. Уникальная специфичность труда историка, по мнению Рикёра, состоит в необходимости сохранять динамическое равновесие между объективностьюrudimentов прошлого и субъективностью прочих факторов, привносимых историком, между объяснением и описанием.

Историческое объяснение всегда апеллирует к объективности, которая у историка реализуется в мастерстве документальной критики. Другая часть доказательной рационализации коренится в способности к пониманию в категориях герменевтики, умении выделять причинно-следственные отношения, используя методы логической дедукции. Однако историческая объективность всегда остается незавершенной и «уравновешивается» субъективностью личности историка, которая проявляется на многих уровнях исследования, от выбора предмета до окончательных выводов. История к тому же всегда остается попыткой «перевода» прошлого на язык современности, делающего воссоздание «аутентичного» прошлого невозможным, что прекрасно осознает всякий, даже наиболее «эпистемически неискушенный» историк. Исследователь преодолевает «онтологический зазор» между собой и прошлым с помощью исторического воображения.

В своем последнем труде «Память, история, забвение», описывая двойственную природу исторического знания, Рикёр объяснил разницу между историей и литературой, описав трехступенчатую структуру исторического исследования. На первом «архивном» этапе историк преобразует память, превращая свидетельства прошлого в исторические источники посредством документальной критики. На втором этапе историк реализует задачу понимания и объяснения, что по объему привлекаемых средств рационализации и моделирования превосходит понятие интерпретации, созданное в герменевтике. На третьем этапе исторического исследования формируется целостная историческая репрезентация, и лишь здесь основной для автора становится проблема нарративной формы и стратегии аргументации. Откликаясь на постмодернистские дискуссии, Рикёр изобретает понятие «*grépresentance*» («вновь-присутствие») в противопоставление устоявшемуся «*représentation*» (репрезентация, «вновь-представление») [17. Р. 359–369]. Игра слов подчеркивает разницу между игрой воображения у писателя и репрезентацией у историка: последний повествует о ситуациях и персонажах, которые реально существовали ранее, независимо от того, кто и когда решил о них рассказать. П. Рикёр предостерегает против перехода через эпистемологическую черту, разделяющую исторический дискурс и другие формы повествования.

Оставаясь нарративистом и убедительно демонстрируя в своем труде «Время и рассказ» принципиальную невозможность для историка освободиться от принуждений литературной формы, Рикёр пишет о своеобразном «многоголосии» исторического повествования, формирующего «четырехугольник дискурса»: носителя события речи; его собеседника, ибо любой дискурс диалогичен; смысла, передаваемого дис-

курсом; предмета обсуждения, внешнего по отношению к дискурсу. Однако интерес к «нarrативной идентичности» истории отнюдь не отменял для автора основного стремления историка к объективности, которая остается главным средством противодействия всем формам манипуляции памятью о прошлом [18].

Таким образом, реагируя на современные дискуссии о познавательных способностях истории, историку, на наш взгляд, следует оставаться на позиции «критическо-

го реализма», чтобы сформировать, выбирая из многих равнозначных подходов, собственную исследовательскую методологию. Эта перспектива будет поддерживать эпистемологически состоятельную способность истории анализировать прошлое, рассматривая его как самостоятельную по отношению к дискурсу реальность, но не отвергая плодотворные возможности дискурсивного анализа. Именно так должна завершиться для историка эпоха постмодернизма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трубникова Н.В. Ревизия наследия позитивизма в современной французской историографии // Известия Томского политехнического университета. 2006. № 6, Т. 309. С. 206–210.
2. Noiriell G. Sur la crise de l'histoire. P. : Ed. Belin, 1996.
3. Lyotard J.-F. La condition postmoderne. P. : Les Editions des Minuits, 1979.
4. Yilmaz K. Postmodernism and its Challenge to the Discipline of History: Implications for History Education // Educational Philosophy and Theory. 2010. № 7, Vol. 42. P. 779–795.
5. Susen S. The «Postmodern Turn» in the Social Sciences. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
6. Asdal K., Jordheim H. Texts on the move: textuality and historicity revisited // History and Theory. 2018. № 1, Vol. 57. P. 56–74.
7. Roberts D.D. Postmodernism, social science, and history: returning to an unfinished agenda // History and Theory. 2017. № 1, Vol. 56. P. 114–126.
8. Munslow A. Thoughts on authoring the past as history // Rethinking History. 2016. № 4 (20). P. 556–585.
9. Munslow A. The Future of History. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010.
10. Ageeva V.V., Trubnikova N.V. Discourse analysis and the «History of notions» of Reinhardt Koselleck in the adoption of the contemporary Western historiography // Russian Linguistic Bulletin. 2016. № 2 (6). [P. 27–30]. URL: <https://dx.doi.org/10.18454/RULB.6.20>
11. Chartier R. Au bord de la falaise. L'histoire entre certitude et inquietude. P. : A. Michel, 1998.
12. Zelenák E. Two versions of a constructivist view of historical work // History and Theory. 2015. Vol. 54. P. 209–225.
13. Dosse F. Paul Ricoeur, Michel de Certeau. L'Histoire : entre le dire et le faire. P. : L'Herne, 2006.
14. Seignobos C. La Méthode historique appliquée aux sciences sociales. P. : Félix Alcan, 1901.
15. Roth P.A. Essentially narrative explanations // Studies in history and philosophy of science. 2017. Vol. 62. P. 42–50.
16. Kuukkanen J.M. Why we need to move from truth-functionality to performativity in historiography // History and Theory. 2015. Vol. 54, iss. 2. P. 226–243.
17. Ricoeur P. La Mémoire, L'Histoire, L'Oubli. P. : Le Seuil, 2000. P. 359–369.
18. Trubnikova N.V. Modern historical epistemology through the prism of Paul Ricoeur's transactions // SHS Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences. 2016. Vol. 28: Research Paradigms Transformation in Social Sciences (RPTSS 2015). URL: <http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162801140> <http://earchive.tpu.ru/handle/11683/33042>

Статья представлена научной редакцией «История» 29 августа 2018 г.

“TO ALLOW THE PAST AS A HISTORY”: ON THE INFLUENCE OF POSTMODERNISM ON HISTORIOGRAPHY IN THE 21ST CENTURY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2018, 436, 192–198.

DOI: 10.17223/15617793/436/23

Natalia V. Trubnikova, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: troub@mail.ru

Keywords: postmodernism; poststructuralism; linguistic turn; narrative identity of history; historical representation; representationalism; nonrepresentationalism; historical epistemology.

The article deals with the content of historiographical discussions of 2000–2010, associated with the identifying of historical science gnostic possibilities at the end of the postmodernism epoch. The research is carried out using problematic-chronological and comparative methods with elements of content analysis. The contribution of postmodernism to the development of humanitarian knowledge and, more specifically, of historical knowledge, primarily affects the sphere of the narrative identity of history. Analysts estimate this process in different ways, from sharply negative assessments to reservedly neutral ones. The main point of the proposals for transforming the “historian's craft” comes down to increasing the value of his creative function, which could impart an experimental nature to this kind of knowledge. Participants in the English-language discussion on the gnostic abilities of history are clearly divided into two groups. The first one includes supporters of a narrative, or rhetorical approach to history, they recognize the freedom of the historian's creativity, focus on the literary dimension, fix the genre similarity and even close goal-setting of the authors of historical writings and fiction. The second group represents the philosophical direction of the linguistic turn. It focuses on the analysis of historical texts semantics, in which the more general relations of the world and language are expressed. It tests the sense of meanings and expressions, determines certain “conditions of truth” on the basis of which certain historical experience crystallizes. However, a more significant demarcation of the postmodernists' camp goes along the line of attitude to the problem of historical representations. Supporters of representationalism, usually appertaining to the philosophical direction of the linguistic turn, write about the ability of the historian to indirectly reflect the past through the refraction of his own art of interpretation. The adepts of nonrepresentationalism (most often representing a narrative direction) believe that historical representation essentially represents only the author's argumentative strategy, which should persuade of the validity of his conclusions, and which has nothing to do with the past. The author comes to a conclusion that all participants in the English-speaking discussion about the epistemic nature of history are surprisingly deaf in relation to the achievements of European humane thought, in particular, of Paul Ricoeur. The latter was able to overcome the contradictions of historical knowledge in question between description and explanation, past and present, objectivity and subjectivity. He substantiated the irreconcilably ambivalent character of historical scholarship and showed, by no means denying the narrative essence of history, where the epistemological barrier passes between historical research and literary oeuvre.

REFERENCES

1. Trubnikova, N.V. (2006) Revision of the heritage of positivism in the contemporary French historiography research. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta – Bulletin of the Tomsk Polytechnic University*. 6(309). pp. 206–210. (In Russian).
2. Noiriel, G. (1996) *Sur la crise de l'histoire* [On the crisis of history]. Paris: Ed. Belin.
3. Lyotard, J.-F. (1979) *La condition postmoderne* [The postmodern condition]. Paris: Les Editions des Minuits.
4. Yilmaz, K. (2010) Postmodernism and its Challenge to the Discipline of History: Implications for History Education. *Educational Philosophy and Theory*. 7(42). pp. 779–795. DOI: 10.1111/j.1469-5812.2009.00525.x
5. Susem, S. (2015) *The "Postmodern Turn" in the Social Sciences*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
6. Asdal, K. & Jordheim, H. (2018) Texts on the move: textuality and historicity revisited. *History and Theory*. 1(57). pp. 56–74. DOI: 10.1111/hith.12046
7. Roberts, D.D. (2017) Postmodernism, social science, and history: returning to an unfinished agenda. *History and Theory*. 1(56). pp. 114–126. DOI: 10.1111/hith.12008
8. Munslow, A. (2016) Thoughts on authoring the past as history. *Rethinking History*. 4(20). pp. 556–585. DOI: 10.1080/13642529.2016.1218136
9. Munslow, A. (2010) *The Future of History*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
10. Ageeva, V.V. & Trubnikova, N.V. (2016) Discourse analysis and the “History of notions” of Reinhardt Koselleck in the adoption of the contemporary Western historiography. *Russian Linguistic Bulletin*. 2 (6). pp. 27–30. DOI: 10.18454/RULB.6.20
11. Chartier, R. (1998) *Au bord de la falaise. L'histoire entre certitude et inquiétude* [At the edge of the cliff. History between certitude and anxiety]. Paris: A. Michel.
12. Zelenák, E. (2015) Two versions of a constructivist view of historical work. *History and Theory*. 54. pp. 209–225. DOI: 10.1111/hith.10754
13. Dosse, F., Ricoeur, P. & Michel de Certeau. (2006) *L'Histoire: entre le dire et le faire* [History: Between Saying It and Doing It]. Paris: L'Herne.
14. Seignobos, C. (1901) *La Méthode historique appliquée aux sciences sociales* [The historical method applied to the social sciences]. Paris: Félix Alcan.
15. Roth, P.A. (2017) Essentially narrative explanations. *Studies in History and Philosophy of Science*. 62. pp. 42–50. DOI: 10.1016/j.shpsa.2017.03.008
16. Kuukkanen, J.M. (2015) Why we need to move from truth-functionality to performativity in historiography. *History and Theory*. 54(2). pp. 226–243. DOI: 10.1111/hith.10755
17. Ricoeur, P. (2000) *La Mémoire, L'Histoire, L'Oubli* [Memory, History, Forgetting]. Paris: Le Seuil. pp. 359–369.
18. Trubnikova, N.V. (2016) Modern historical epistemology through the prism of Paul Ricoeur's transactions. *SHS Web of Conferences*. Vol. 28: Research Paradigms Transformation in Social Sciences (RPTSS 2015). Les Ulis: EDP Sciences. [Online] Available from: <http://earrchive.tpu.ru/handle/11683/33042>. DOI: 10.1051/shsconf/20162801140

Received: 29 August 2018